
САДЫ
ЭДИАКАРЫ
МАРК ЛАНГЕ
18+

Марк Ланге
Сады Эдиакары

https://litres.ru/75058468
SelfPub; 2026

Аннотация

Лейпциг, ГДР. Осень.

В старом футляре, спрятанном за балконным радиатором, Йоханн Вебер обнаруживает винтовку Mauser 98k, оптику и чужое имя, оставленное на внутренней стороне крышки. Находка становится началом странного увлечения: он начинает наблюдать за людьми в окнах соседних домов, изучать их привычки, читать по губам, составлять собственную карту чужих жизней.

Постепенно город превращается для него в огромную коллекцию человеческих историй, а люди — в объекты наблюдения и исследования. Йоханн убеждён, что видит больше остальных. Что способен распознать скрытый порядок там, где другие замечают лишь хаос повседневности. И что знание даёт ему право вмешиваться.

Но однажды его внимание привлекает женщина, которую он не может разгадать.

«Сады Эдиакары» — многослойный психологический роман о власти и одержимости, наблюдении и познании, человеческой природе и иллюзии всеведения. О человеке, который решил, что мир нуждается в его правке.

Содержание

Часть Первая: Стекло 4
Конец ознакомительного фрагмента. 14

Марк Ланге
Сады Эдиакары

Часть Первая: Стекло
Глава 1

Он нашёл её в тот час, когда осенний день, не прожитый до конца, угасал в полосах грязно-оранжевого и свинцового за балконным остеклением. Скука — тягучая, вязкая — заставила его разбирать завалы на лоджии, этом архиве отцовских полуначинаний. Ящики с пожелтевшими учебниками по марксизму-ленинизму, банки с огурцами неведомого года, стопка старых газет *Neues Deutschland*, воспевавших трудовые победы, которые так и не стали его победами. Он отодвинул их — и взгляд его упал на длинный, похожий на гроб, футляр из потёртой чёрной кожи, припрятанный в самом углу, за балконным радиатором. Пыль лежала на нём. От замка, туго поддававшегося, пахло окисью.

Щелчок прозвучал как выстрел в тишине. Он откинул крышку.

На внутренней стороне крышки, в углу, под выцветшим бархатом, была надпись. Чернилами, выцветшими до цвета чая. Не отцовская рука — слишком ровная, слишком стара-

тельная, как пишут люди, которые не привыкли писать много и потому стараются. Фамилия. Дата. «K. Hennig, 1943». Йоханн смотрел на неё дольше, чем нужно. Он не знал этого имени. Отец никогда его не называл — ни в пьяные вечера, когда говорил больше, чем хотел, ни в трезвые, когда молчал так, будто каждое слово было ему в тягость. Но винтовка была здесь, за радиатором, и на ней стояло чужое имя, и это значило, что она попала сюда не сама.

Бархат внутри был не просто выцветшим. Малиновым прахом. И в этом прахе покоилось оно. Винтовка. Длинная, серьёзная, не терпящая суеты. Mauser 98k. Ложе из ореха, когда-то отполированное до медового блеска, теперь потемнело, впитав в себя пот ладоней и влажность неудачных сезонов. Металл затвора, синевато-холодный, был тщательно смазан и лоснился.

Йоханн взял её, проверяя вес и баланс. Пальцы сами нашли рычажок предохранителя — ход был туговат, но чёток. Он отвёл затвор. Движение было плавным, без заеданий, только лёгкий скрежет давно не менявшейся смазки. Патронник пустовал. В коробчатом магазине, на ослабевшей пружине, лежало три патрона. Он вытряхнул один на ладонь. Гильза, когда-то латунная, покрылась густым малахитовым налётом, капсюль побелел и просел. Негодный хлам.

Это была не вещь. Это был артефакт иной, более ясной и жестокой эпохи, где вопросы решались прямолинейно, а ответы были окончательными.

Рядом, в продолговатом футляре из того же потрёпанного временем чёрного сафьяна, лежал бинокль. Тяжёлый, с гравировкой на латунной пластине: Carl Zeiss Jena Dekarem 10×50. Линзы его, с тем же характерным желтоватым просветлением, смотрели в никуда. Инструмент наблюдателя, натуралиста, путешественника в чужие жизни. Но это был лишь один глаз. Второй покоился глубже, в жёстком футлярчике, обитом внутри зелёным, поблекшим до цвета мха, сукном. Оптический прицел. Короткий, матово-чёрный, без излишеств. На его корпусе, рядом с барабанчиками поправок, тоже стояло клеймо Carl Zeiss Jena и выбитый номер. Не броский, не театральный, а сугубо утилитарный.

Йоханн вынул сначала бинокль. Привычным движением развёл трубы, поднёс к глазам. Мир сжался, стал ближе, но остался целым. Он видел панельные фасады, деревья, окна. Это был взгляд со стороны. Взгляд бога, который не вмешивается.

Потом он взял прицел. Тяжёлый цилиндр идеально лёг в ладонь. Он вставил его в направляющие на ствольной коробке винтовки, защёлкнул. Механики встретились с тихим, окончательным щелчком. Это был уже не союз, а слияние. Длинная, серьёзная винтовка и короткий, всевидящий глаз. Гибрид.

Он поднял собранное оружие. Вес был не просто физическим — он был смысловым. Тяжесть власти. Он прижал приклад к щеке. Дерево было прохладным, но через мгновение

начало нагреваться от его кожи. Он подошёл к распахнутой настежь балконной двери.

Воздух, хлынувший в лицо, был тяжёлым и зернистым. Знаменитый лейпцигский смог — плотная, сернистая взвесь от сжигания бурого угля в печах ТЭЦ — висел над дворами Лёсснига неподвижным студнем. Этот смог был естественной средой обитания, серым фильтром государства, который превращал город в бесконечный рентгеновский снимок, где всё было плоским, тусклым и лишённым глубины. Он пах холодной золой, мокрой сажей и застарелым страхом. Обычный человеческий глаз пасовал перед этой мутью, соглашаясь видеть лишь расплывчатые пятна панелек. Но линзы с просветлением Т имели иную природу. Они не просто смотрели — они оперировали это пространство.

Он упёр приклад в плечо и прильнул к окуляру.

Мир превратился в желтоватую картинку, ограниченную правильным кругом. Оптика вспорола смог, как скальпель — гнойник. Крест прицела — тонкий, неумолимый — поплыл по фасадам панельных одиннадцатиэтажек. *Вот так, наверное, и смотрят боги,* — подумал он. — *Сверху, сквозь стекло, и им не нужно, чтобы их видели.*

Вот в окне на третьем этаже молодая женщина, укачивающая ребёнка. Её лицо, увеличенное, было искажено усталостью. Вот старик в майке-алкоголичке неподвижно сидит перед голубым мерцанием телевизора, и свет экрана отбрасывает на его лицо маску безразличия. Вот двое средних лет

кричат друг на друга, их рты, не издающие звука, разеваются в немой гримасе ненависти.

Он водил стволом, останавливая крест на мельчайших деталях: на одинокой слезе на щеке женщины, на дрожащей руке старика, подносящего стакан к губам, на сжатом кулаке мужчины. Он видел их. По-настоящему. Он видел самую суть — одинокое, жалкое, ничтожное страдание.

Его дыхание, до этого ровное, споткнулось. Крест дрогнул, завис на лице кричащей женщины. Её рот, искажённый немым криком, казалось, кричал прямо в него. В ушах внезапно зазвенела тишина, а в груди что-то ёкнуло — короткий спазм, похожий на страх. *Это живой человек. Там, за стеклом. Из плоти и крови. Что я делаю?*

Мысль была ясной, чужеродной и оттого особенно ужасной. Он чуть не оторвался от прицела. Палец, лежавший на спусковом крючке, дёрнулся. Но вместо того чтобы убрать его, он сильнее прижал подушечку к холодному металлу. Страх не исчез. Он кристаллизовался, превратился в лёд. И этот лёд стал новым фундаментом.

Он сделал глубокий, шумный вдох, выдохнул. И посмотрел снова. На этот раз он увидел не человека, а экземпляр. Образец патологии. Объект для изучения. Страх отступил, уступив место леденящему интересу. Крест поплыл дальше, уже не дрожа.

— Йоханн! Иди ужинать! Картошка остывает!

Голос матери прозвучал из глубины квартиры — звонкий,

заботливый. Он вздрогнул, словно его шлёпнули по затылку, оторвав от божественного откровения. На мгновение ему показалось, что сейчас кто-то войдёт на балкон и увидит его — Бога, превращённого в провинившегося мальчишку.

Он медленно, с нежностью, недоступной ни одному живому существу, отсоединил оптику и уложил винтовку обратно в бархатное ложе. Защёлкнул футляр. Вернул его на место, за радиатор, прикрыв ящиком с консервацией.

Войдя в квартиру, он вдохнул запах жареной картошки с сосисками и тмином. За столом сидела мать, Уте, с её вечным, немного тревожным взглядом, и отец, Петер, углубившийся в вечернюю газету, словно ища в ней ответа на вопрос, который давно перестал задавать.

— Ты весь в пыли, — сказала мать. — Что ты там делал?

— Ничего, мама. Просто наводил порядок.

Он сел за стол. Руки его всё ещё пахли металлом и старым деревом. Он смотрел на свои пальцы, держащие вилку, и думал о том, что несколько минут назад они лежали на спусковом крючке. Мир за окном кухни был прежним — серым, предсказуемым, скучным. Но теперь у него был ключ. Теперь у него был ответ на эту скуку. Картошка казалась безвкусной. А вкус власти — он его только что узнал, и он был сладким.

Отец хранил её, не зная, что с ней делать. От чего? От войны, в которой не участвовал? От охоты, на которую не ходил? Нет. Он хранил возможность выбора и действия. А я эту возможность только что украл. И чувствую себя не

вором, а наследником.

Ужин прошёл в гулкой, привычной тишине, нарушаемой лишь звоном ножа о тарелку да доносившимся из гостиной ровным, как бульдозер, голосом теледиктора, вещавшего о новых трудовых рекордах. Йоханн сидел, ощущая под столешницей дрожь в коленях — не от страха, а от нетерпения, сжатого в тугую пружину. Предсказуемый хор домашних звуков — скрип отцовского кресла, шум воды из кухни — казался ему теперь фальшивым оркестром, заглушающим главную музыку, которая ждала его на балконе. Мир в четырёх стенах стал декорацией к той подлинной, жестокой и прекрасной драме, что разворачивалась за стеклом в жёлтом круге прицела.

Он ушёл в свою комнату, едва дождавшись конца трапезы, сославшись на головную боль. Комната поглотила его полумраком. Он не включил свет. Сел на кровать, упёрся локтями в колени и уставился в тёмный квадрат окна, за которым медленно гасли окна соседних домов. В пальцах, сцепленных перед лицом, всё ещё жила память о шершавом дереве приклада. Он сжимал и разжимал пальцы, представляя, как одним движением — чётким, неотвратимым — мог бы изменить ход жизни за любым из этих окон. Не для убийства. Пока нет. Для… вразумления. Чтобы кричащий мужчина вдруг захлебнулся собственным криком от изумления и страха. Чтобы усталая женщина с ребёнком на секунду подняла голову — от неожиданности, от того, что кто-то есть.

Чтобы старик у телевизора обернулся и увидел — мир не молчит. Он смотрит.

Воображение услужливо рисовало картины: вот кричащий мужчина хватается за плечо, лицо его искажает не боль, а чистое, детское недоумение; вот старик замирает с открытым ртом, слова застревают в глотке, словно камешки; вот женщина с ребёнком вздрагивает от резкого звука и впервые за много лет чувствует — что-то изменилось. Эти образы пульсировали в сознании, накладываясь на реальные силуэты за окном, превращая обыденных людей в персонажей его личного эксперимента.

Но тут же, будто тень от этой мысли, возникла другая: а что, если он промахнётся? Попадёт не в плечо, а случайно — в шею? В глаз? Из окна хлынет не крик удивления, а тихий, булькающий хрип. Руки его, сжатые перед лицом, вдруг стали влажными. Он резко разжал пальцы, вытер ладони о брюки. Внутри всё сжалось в один холодный, болезненный спазм.

Тогда, весной, руки были сухими.

Три месяца он сидел над проектом по вечерам. Раскладывал кальку на столе, переписывал таблицы, пересчитывал инсоляцию для каждой квартиры, а потом пересчитывал ещё раз, потому что в третьей секции цифра не сошлась на одну десятую. Мать приносила чай и ставила чашку на самый край стола, подальше от чертежей.

— Ты ел?

— Ем.

Он не поднял головы, и мать ушла, так и не узнав, правда ли это.

Однажды вечером отец остановился у него за спиной с газетой под мышкой. Постоял. Йоханн слышал, как он дышит, и не обернулся. Отец смотрел на фасад: одиннадцать этажей, балконы, вынесенные из плоскости стены, ровная сетка окон.

— Кто будет смотреть?

— Фогт. И комиссия.

Отец кивнул, будто это что-то объясняло, и вышел. Чай остыл нетронутым. Йоханн допил его в два часа ночи.

Проект разбирали в большом кабинете на четвёртом этаже Управления. Окна были заклеены бумагой от сквозняков, на столе стоял графин с водой, которую никто не пил. Йоханн разложил листы на длинном столе и докладывал цифрами. Инсоляция в самой дальней квартире торцевой секции — два часа в день. Перепад температур в пределах нормы. Вентиляция без механики, без единого вентилятора, который сломается через два года. Инженеры кивали. Кто-то записывал.

Фогт слушал, постукивая карандашом по краю папки. Когда Йоханн закончил, карандаш остановился.

— Вы хорошо считаете, товарищ Вебер. Ваша таблица — это бумага. Здесь живут люди.

Йоханн придержал ладонью край верхнего листа.

— Цифры проверены дважды.
— Я не сомневаюсь.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.